

Рассказ скачан на сайте <http://eromo.org>

Название: Один день Отца Федора

Сплю и вижу тот же сон. Стою я на коленях, в келье у старца Пантелеймона из Псковской епархии, а он, величественный, благообразный, с бородой белой до пояса, вещает — «Блудодей ты, расстрига и разбойник, Фетька! Через усекновение уда попадешь в царствие небесное!». Синим сатанинским пламенем вспыхивают свечи в келье. Окружают Пантелеймона бабы голые и черти, и пускаются вокруг меня в хоровод — хохочат бабы, прыгают их титьки арбузные, верещат черти! Прыгает, пляшет в бесовском хороводе старец Пантелеймон и грозит мне пальцем, страшна борода его и выпученные глаза. Кричу я что есть мочи — «Спаси Господииии!». И просыпаюсь.

Крещусь на образа не вставая с постели — лет семь уже как уехал из Пскова, а поди же, до сих пор страсти семинарские сняться. Встаю с перины, уд мой восстал во сне и тянет за собой ночную сорочку. Сотворяю троичные тропари, символ веры, прочищаю нос, пержу звонко, пью натошак сливовую настойку. — Фекла! Феклуша, подрясник неси и квасу! Бас мой трясет окна в моем нынешнем жилище — одном из домов покойного купца первой гильдии Васильева. Челяди у меня две души — бабка Матрена кухарка, да внучка её Фекла, девка молодая, сочная, глупая и смешливая.

Зевая входит Фекла, в одной руке у нее ковш с квасом, в другой сложенный аккуратно чистый подрясник. Увидав восставший хер мой, девка краснеет и хихикает, подходит и помогает снять ночную сорочку. Пью квас, а девка стоит столбом и косится на образа.

— Феклуша, дура девка, духовника стыдишься? Сколько раз тебе, дурной, говорить — через муде духовника напрямую в бабу входит благодать.

Фекла вздыхает, и расстёгивает верх своего сарафана, и на свет Божий выпрыгивают налитые спелые груди, белые и округлые, сосцы ее алые, как спелые вишни. Становиться предо мною на колени, и начинает теплыми пальцами мять и гладить мое муде чугунное, а губами алыми звонко целует массивную ялду. Прижимаются ее сиськи медовые к моим бедрам, глажу Феклушины не собранные в косу волосы. Кладу копие свое восставшие девке на чело, и лицо ее устами к мудям прижимаю. Лижет Феклуша муде, с сопеньем и чваканьем, усердно, яйца слюнявит и в рот то одно то другое забирает.

Нежно сосет Фекла и старательно, глаза закрывает, тереться сиськами о чресла мои, сосцы приятно скользят по коже. С хлюпаньем муде мои изо рта выпускает, и к балде раскрасневшейся присасывается — мнет и елозит губами, слюни на титьки ее белые капают. Выпустила хер мой багровый, слюнявит палец — и снова в уста берет, одной рукой держит меня за задницу, а другой, проказница, лезет пальцем мне в дымоход!

Ах, Господи, вот же научил девку этой дури семинарской! На свою то на голову! Терзает Фекла зад мой, с хлюпаньем языком по ялде елозит, доит настойчиво уд мой каменный. Выстреливает хер мой малафей, надуваются щеки у Феклуши, глотает девка, глотает да проглотить не может, плюет малафей на елейные титьки свои, и играет сиськами, дурная, перстами растирает.

Помоги Господь еще один день провести в трудах праведных! Позавтракав щами с капустой, расчесав бороду, выхожу из дома. До чего красив рассвет в Шукино! Через треть версты вижу, как солнышко освещает строящуюся церковь, и на душе становится легко и благодатно.

— Здорово, Батюшка! Улыбаются и кланяются мужички, ломая шапки. Артель каменщиков

Сеньки Кривого строит в Шукине храм Господень. — Благослови Господь на труды! Сотворюю неспешно крест в сторону работающих мирян.

Прибыл я из Пскова в Шукино на пустое место — старая деревянная церковь сгорела еще при самодержце Александре Павловиче. Дабы уберечь епархию от греха, синод послал меня в Шукинский уезд, служить без церкви. Однако же — в волости послал мне Господь купчиху Марию Пантелеевну, вдову купца Васильева. Набожная, но яростная женщина! Месяц мариновала ялду мою по семи раз на дню, исхудал я в те дни и постоянно молил Господа о прибавлении сил. А после пожертвовала на новый Шукинский храм, спаси её Господь, благодетельницу.

Шагаю по посадской улице, с резного крыльца лавки приветствует меня Авдотья, жена Савелия Комяги, первого шукинского купца.

— Федор Кузьмич, батюшка! Уж извольте зайти на вареники, не побрезгуйте, свет вы наш! Улыбается Авдотья, а титьки ее огромные под сарафаном задорно подпрыгивают. Дородна, бела и пышна Авдотья, чувствуется в ней приятная телесная бабья мощь. Обе косы ее толщиной чуть не с мою руку — а в косы вплетены разноцветные ленты, как делают это молодые хохлацкие девки. Лицо у Авдотьи круглое и румяное, щеки пухлые, губы сочные, а глаза хитрые и ласковые.

— Авдотья, экая ты нарядная, где супруг твой Комяга? — Так в волость с утра поехал, пьяница сиволапый! Смеется Авдотья, взор отвести от ее титек мелко качающихся никак не возможно. Чинно ступаю на крыльцо, идет Авдотья вперед меня в сени. Зад ее, пышный и массивный, как два мельничных жернова, качается под сарафаном. Кладу пятерню ей на задницу.

— Авдотья, и создал же Господь такую красоту!

Девка заливается смехом, а я шарю пальцами по мягкой и приятной ее заднице. Не заходя в горницу, в сенях заголяю подол, и сжимаю жадно пальцами упругие полужоппия, мешу их как прохладное, сдобное тесто. Авдотья хихикает и крутит бедрами, рукой упирается в притолоку в сенях, выпячивает пышную белую задницу навстречу моим рукам.

От вида телес ялда моя восстает, поднимая вверх рясу вместе с подрясником. Задираю рясу до пуза, и шлепаю звонко балдой своей свекольного цвета по Авдотьиной ягодице. Чувствую тяжелый и сладкий бабий запах в сенях. Девка тянет пальцы между своих бедер, хватает меня за маковку, и ерзает бесстыдно, пытается примоститься пяздой своей медовой к моему уду. Качнулся навстречу — и хер мой семивершковый медленно вползает в жаркое просторное бабье нутро, качаю хером, с кряхтеньем и уханьем, брызжет бабий сок на мои сапоги, сопит и стонет девка!

Лохань у Авдотьи чудная. Господь наградил меня семивершковым удом, редкая девка не визжит аки полоумная, едва присунешь, пышная же и дородная Авдотья знай себе стонет да качает задом, весь уд забирает, так что муде мои отяжелевшие с бряцаньем стучат меж ее белых бедер.

Девка мычит и падает на четвереньки, зад ее в сенях, а титьки и голова в горнице, мотает головкой, визжит, косы ее пол подметают, тянет руку себе между бедер опять и щекочет пальцами мне муде, к себе прижимает, и мелко подмахивает задницей. Вдруг чувствую — два пальца в лохань свою рядом с удом моим загоняет! Удивился я изрядно.

— Ах ты, курва ненасытная, хуя поповского тебе мало! Ужо у меня есть на тебя, греховодницу, управа!

Вынимаю хер из просторного лона, под недовольный вой Авдотьи. Святые угодники! Пора,

пора Федор Кузьмич, вспомнить семинарские времена! Наклоняюсь и сочно плюю на белую ее задницу, толкаю балду свою раскаленную между ягодиц ее наливных!

— Батюшка, ты что затеял!? Коршун ненасытный!

Воет Авдотья, титьками прижалась к натертому полу сосновому, да знай себя пользует пальцами. Зад у Авдотьи как у девицы — тугой да упругий, ялду в бабих соках все же принимает. Визжит купчиха глаза выпучив, упала титьками в пол, чувствую удом своим через задницу, как пальцы ее в пязде крутятся, благодать!

Подмахивай, подмахивай чреслами, встречай батюшку!

Соплю громко, и слышу, как дворовые девки за окном хихикают. Обернулся и погрозил им пальцем. Поднатужилась Авдотья, жопой виляет, крутиться, кряхтит и стонет, выдаивает дымоходом своим малафью. и дело упираясь мне в плечо пышными грудями. Солнышко в зените. Смотрю на желтые клены, на Авдотью, на румяных дворовых девок, лузгающих семечки, поглаживаю пузо умиротворенно — ах ты Господи, благодать! Идиллию прерывает конюхов мальчишка — бежит и кричит стервец:

— Батюшка, Родионыч пировать зовет!

Прощаюсь с купчихой. Подобрал подол рясы, чвакая сапогами по грязи, шагаю с полверсты к Якову Родионовичу. Яков Родионович — отставной штабс-ротмистр от кавалерии, холостяк, живет с челядью в родовом именье на окраине. У Якова за преферансом собираются представители всех сословий Щукина — духовенство в моем лице, дворянство в лице пропившегося князя Пшеницкого, и коллежский секретарь Миша Есаульчик.

Ворота мне открывает Прошка, морда его помята и неприятна, денщик Якова Родионовича. Прошка икает и кланяется, следую за ним. Все именье пропахло сивушным маслом и перегаром, но сады по прежнему красивы — клены и тополя обрамляют аллеи, а цветут вишни. Замечаю подле заезда блестящую черную коляску, запряженную парой вороных, лучший выезд в именье.

— Прошка, кого привез? — Артистка батюшка, из феатру Пермского.. — Сучий потрох, с утра поди набрался, анафема? Мало Яков тебя лупцует.

Порошка трясет головой и крестится. Поднимаемся по лестнице. Слышу дамский смех и дурной хохот Якова Родионыча. В зале накрыт стол. За столом Яков, на нем по обыкновению халат. Яков небольшого роста, плотный, бороды не носит, зато усы его, закрученные вверх на австрийский манер, выходят далеко за пределы его квадратного лица. Справа от Якова на краю стула качается худощавая девка в бальном платье, оба изрядно набравшиеся. Яков подскакивает.

— Отец Федор! Разрешите отрапортовать — к нам, по пути в Пермский Цирк, то есть, Театр, мадмуазель Анжела Куккенцукер! Танцовщица цирк... то есть, прима! В театре Пермском прима! Понимаете? У меня в гостях! Проездом-с. По пути в Цирк! Вам две штрафных, батюшка! — А где же Пшеницкий? — Князь третьего дня ездил кутить в Пермь, упал пьяный с двуколки, и завтра мы едим к нему, да-с, экая оказия! А сегодня у нас фестиваль искусств! Спойте же, Анжела!

Анжела встает со стула, театрально кланяется, затем громко икает и падает в сторону Якова, он хватает её одной рукой за талию, другой за задницу, и сажает на стул. Устраиваюсь за стол, сам наливаю себе водки, и начинаю закусывать колбасками и капустой с хреном. Яков воодушевленно кричит, рубя перед собой воздух рукой.

— Вы думаете, Анжела, что мы, тут, в Щукино, чужды искусствам? Как бы не так! У нас

цыгане с медведем каждую неделю! Да и ваш покорный слуга, будучи гусаром, был не чужд, так сказать, воздушным музам искусств и поэзии, да-с!

Яков встает, принимает героическую позу, простирает руку над столом и декламирует: Турецкие полки Бежали средь полей Видны лишь конские зады И бряцанье слышно трусливых турецких мудей

— Вот так-то, Анжела! Вот, даже в войне, в пыли сражений, когда турок, точит зубы на Россиюшку, на престол-отечество, так сказать, вот, точит зубы, я, будучи гусаром, солдатом, воином русским, всегда упивался сладостной прекрасной музыкой искусств, веянием, да-с, так сказать муз!

Анжела пьяно хихикает и хлопает в ладоши, Яков подсаживается к ней ближе и начинает шуршать рукой под ее юбками, в конце стола слышна возня и смешки.

Беру графин с водкой, тарелку с капустой, и иду на балкон. Спаси Господь, грешен человек. Вот и Яков Родионович, отдал свои лучшие годы престол-отечеству, и что же? Вместо того чтобы учительствовать молодых офицеров, прививать им любовь с самодержцу и тягу к подвигу — заманивает к себе в именье артисток, танцовщиц, институток, девок из водевилей, и устраивает еженедельно пьяные бенефисы, дай бог ему здоровья за то, что не забывает приглашать своего духовника.

Закусываю водку хрустящей капустой. Вид с балкона греет душу — далеко, за горизонт, уходит извилистый Пермский тракт, мужики возвращаются с полей. По пермскому тракту едут брички с базара. Вечернее осеннее солнышко освещает божий мир, мужички щурятся и улыбаются.

Возвращаюсь в зал и вижу привычную картину — Яков стоит у стола, в одной руке его рюмка с водкой, а другой рукой он держит свой короткий, но толстый, с большой головкой хер, похожий на гриб боровик, и тычет его в уста артистке. Анжела закрыв глаза опирается руками о стол, а носом своим и щеками елозит по ялде Якова, то и дело и принимая его уд за щеку, на французский манер. Яков довольно сопит и завидев меня начинает пьяно орать:

— Ага, батюшка? Ага? Это вам не феклух еть днями! Вот-с, извольте — прима! Культура! Выкусите! Театр Пермский! Милая Анфиса! А знаете ли, к отцу Федору аж из Питера! Из Питера, на исповедь едут! Все дамы, дамы да богатые вдовы! Купчихи! За ялдой! За ялдой его непомерной! Укрепил же Господь человека! Вот укрепил же, да-с!

Артистка, закатив глаза и покраснев, пытается отвернуться, но Яков Родионович по-гусарски берет ее за патлы, и решительно направляет лицо на свой хер, ялда с напором и чваканьем проскальзывает в уста, и артистка выпучив глаза начинает двигать головой и громко дышать носом. Яков по обыкновению вопит на все имение.

— Ах, еб! Ах, еб! Мадмуазель, вы растрогали старого солдата! Ах, еб! Ах, еб! Ах, еб! Ах, курва! Ах, еб! Ах, курва! Ах, еб! Ах курва! Налетай, духовенство! Ах, еб! — Спаси тебя Господь, Яков Родионович, благодетель, экий ты ругатель!

Подхожу к артистке, придерживая за талию убираю сапогом ее стул, загнулась плясунья Анжелка кочергой с хером в устах. Задираю юбку — там еще одна юбка. Задираю её — еще одна. И эту задираю — еще одна юбка, вот же анафема! Задираю и эту — там панталоны! Господь спаси, куда катишься ты, Россиюшка!? Снимаю и их, жопа у артистки худая, как у семинариста, берусь за ягодицы — тьфу, срам, в ладонь почти помещаются! Охоч же Яков, греховодник, до костлявых девок! Задираю рясу с подрясником, хватаю уд свой и тереблю его подле бледной задницы, да ялдой меж бедер вожу. Трясется артистка, юбки ее ходуном ходят,

слышу как Якова хером чавкает, ноги растопырила, развратница, и мандой своей худосочной возит по копию моему восставшему.

— Ах, еб! Федор Кузьмич! Ты то! Смотри мне! Своей корягой внутренности ей не перепутай! Ах, еб! Смотри мне! Смотри мне, фелдшер с Прошкой не поедет, Прошка его пьяный бил! Ах, еб! Ах, еб!

Вздыхаю тяжело. Се человек, Господь форму его определяет, грешно жаловаться. Беру крепко девку за талию и толкаю ей хер свой, мычит девка и бьется, головой мотает, всеж, с Божией помощью, на пол шишки заползает могучий уд мой в разгоряченную пязду масляную. Сминаем с Яковым немощную плоть артисткину двумя херами, качает Яков задом да приговаривает:

Ту-ды, ту-ды, раз-ту ды, раз! Ах, еп! Ах, еп! М-па, м-па, м-па, — два! Ах, еп! Ах, еп!

Вторю в такт басом:

У-тя, у-тя, у-тя — три! Спаси Господь, спаси Господь! Е-тя, е-тя, е-тя, все четыре!

Подхватывает Яков, закатывая глаза:

Ты на, ты на, ты на — пять! Все оглобельки на ять!

Девка дрыгает задом и фыркает, текут слюни Анфиски с Якова малафьей вперемешку! Взрывается уд мой спермиями в Анжелкиной тугой лохани, надувает чрево её, весело брызжет малафья на паркет! Крутится девка на двух удах, аки волчек на ярмарке!

Во втором часу ночи выпоротый и протрезвевший Прошка везет меня на дрожках в мое пристанище, дом покойного купца первой гильдии Васильева, царствие ему небесное. Полная луна освещает путь, идет к небу дым из печных труб, спит Шукино. И я засыпаю.

И снится мне тот же сон — еду я на черте средь бела дня, держу его за козьи рога, чтобы не упасть. А предо мной на голой, дородной бабе едет старец Пантелеймон, борода его благообразная метет по земле, одной рукой держит он бабу за титьку необъятную, а другой мне пальцем грозит. А на горизонте, в лучах солнца, приближаются купола соборного храма Псковской епархии.